

ЮЛИЯ НЕВОЛИНА



БАБЬЕ ЛЕТО

РАССКАЗЫ

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

За свои тридцать девять лет Инна так ни разу и не забеременела. Два неудачных брака не принесли желаемого результата. Первый муж — ошибка молодости — оказался алкоголиком, и зачать от него она особенно и не стремилась. Второй — удачный: умница, кандидат наук, встреченный однажды на юбилее подруги, в семейном быту сразу становился невероятно скучным, и, промучившись два года в плену его бесконечных алгоритмов и интегралов, она отказалась от перспективы стать в будущем профессорской женой. Забеременеть, впрочем, не удалось тоже...

Инна хорошо зарабатывала, читая лекции в престижном коммерческом вузе, по вечерам подрабатывала, редактируя статьи для модного глянцевого журнала, и перспектива родить от первого встречного и воспитывать ребёнка одной нисколько не пугала, скорее даже прельщала её. Проблема состояла в отсутствии этого самого встречного. Пытался ухаживать, правда, грузный и не в меру шумный декан факультета физического воспитания — бывший военный, полковник в отставке, “солдафон”, как прозвала она его про себя.

НЕВОЛИНА Юлия Александровна родилась в 1965 году в Перми. Окончила филфак Пермского государственного педагогического университета. Работала редактором, корреспондентом. Автор научно-исследовательской работы “Устные рассказы туристических групп как явление современного фольклора” (под фамилией Корабельникова). Дипломант III степени в номинации “Лучшее прозаическое произведение” краевого литературного конкурса “Решетовские встречи”. Член авторской группы издания “Времена. Книга об истории Пермского района”. Составитель учебного пособия для студентов заочной формы обучения “Информационно-экскурсионная деятельность предприятий туризма”. Живёт в Перми.

Но ухаживания были чересчур неловкими, шутки — сальными, а подарки — куцыми...

С нетерпением ждала Инна отпуска, давно запланированной поездки к южным рубежам необъятной страны, к волнам любимого с детства Чёрного моря, в местечко с ласковым названием Лоо, которое острые на язык дамы давно уже расшифровали, как “люблю отдыхать одна”. Одна она, впрочем, ехать не собиралась...

Ещё зимой состоялся у неё с небольшой компанией самых любимых студентов тайный заговор. Накачанные Лоза и Сыромятников с третьего курса уже нашли вечерние шабашки, зарабатывая на июльский послесессионный совместный отдых. Давно ушедший из семьи отец выделил искомую сумму тихому первокурснику Воронихину. “Я тоже поеду”, — уже в марте сказал ей, задумчиво глядя в окно, красивый Михеев, наматывая на указательный палец тугой тёмный локон. “Одним больше, одним меньше, — решила Инна, — пусть едет”. И Михеев занялся поисками работы.

Всю весну избранная молодёжь с азартом обсуждала южный маршрут. А она вынашивала свои собственные заветные планы. Как кто-то едет за южным загаром, незабываемыми впечатлениями, морской волной, так Инна ехала за беремностью, мечтая встретить на кавказском берегу своего пусть уже не принца, но вполне приличного кавалера, завести курортный роман и привезти домой в своём чреве плод сумасшедшей, ни к чему не обязывающей южной любви.

В последние дни июня, к тому времени, когда и студенты, и педагоги уже устали от сессионной лихорадки и сухого, без дождинки, лета, неожиданно увязался с ними декан, и в билетных кассах железнодорожного вокзала был в результате выкуплен в складчину целый плацкарт, включая узкие боковушки.

Задолго до поездки она оговорила свою позицию:

— Присматривать за вами не буду, шпионить тоже. Просто едем вместе.

Табу налагалось на две вещи: водку и одиночное ночное купание. Первокурсник Воронихин по её просьбе принёс в институт разрешающую записку от матери.

В вагоне было жарко. Спустя три часа после отхода поезда она оглядела дислокацию. Декан подрёмывал на верхней полке, напротив него маленький Воронихин уткнулся носом в дешёвый детектив, на нижней боковушке, блестя обнажёнными торсами и играя бицепсами, шумно резались в карты Лоза и Сыромятников, нагло задирая время от времени проходящих мимо девиц. Сидя у окна, наматывая по привычке тёмную прядь на палец, Михеев разгадывал кроссворд. Оставшись в целом довольной своей разношёрстной командой, Инна принялась смотреть в окно, но было скучно, пейзаж оставался по-прежнему знакомым, и она задремала, устроившись поудобнее.

Небольшое волнение вызывала процедура поисков жилья, но устроились на удивление легко: маленькая аккуратная южная старушка сдала им целую дачку, переехав на время к сестре, живущей по соседству, и торжественно вручив в обмен на оговорённую сумму ключи от собственных “апартаментов”, утопающих в зарослях бледной гортензии.

Первое южное утро встретило их пеной прибоя. Устроившись кое-как на успевшей нагретой гальке, она с удовольствием наблюдала, как её голенастые питомцы наперегонки несутся к воде. Декан сразу же оставил их, привязавшись к стайке хорошеньких жёнщин. Впервые попавший на море первокурсник Воронихин, восторженно искупавшись, теперь бродил по берегу, выискивая и складывая в пакет причудливые камни и блестящие раковины, и расстраивался оттого, что они теряли глянec, высыхая. Глядя с завистью на ярко-красную бандану, по-пиратски завязанную на голове у Михеева, он думал о том, что к следующему лету надо выпросить у мамы такую же.

Июль переваливал за свой экватор, а знойного красавца — потенциального отца её будущего ребёнка — на гребне этого экватора видно всё ещё не было. Пару раз навещал её тёмными южными ночами в меру выпивший декан, но положенного трепета эти встречи не вызывали, и наутро она вычёркивала их из памяти. Тем более что всю вторую половину отпуска декан

поводился ходить за три километра на танцы в посёлок, откуда возвращался под утро с помятым лицом и початой бутылкой домашней непревзойдённой “Изабеллы”, которую допивал за завтраком.

Был, правда, один персонаж, привлекавший её внимание на пляже, — фотограф-шабашник, из местных. Но его всегда окружало такое плотное кольцо почитательниц, что на личное знакомство не оставалось никаких шансов.

В один из вечеров второй половины июля, когда декан ушёл в посёлок, а порочные Лоза и Сыромятников унесли на свидание к очередным красоткам, оставив Воронихина с книжкой на веранде и потеряв из виду смугло загоревшего красавца Михеева, Инна отправилась побродить по берегу. Часа через полтора на пляже она встретила фотографа с девицей. В результате прогулка оказалась скомканной, и в плохом настроении она вернулась назад. Маленький Воронихин сладко посапывал на веранде. Больше в доме никого. Инна приняла душ, с удовольствием подставляя вобравшее дневное тепло тело прохладным струям, вошла в комнату и, завернувшись в простыню, села у открытого окна, в котором на фоне чернильного неба вырисовывались ещё более тёмные силуэты гор.

Глядя на горتنюжи, стоявшие в стеклянной банке на тумбочке у изголовья кровати, она вдруг заплакала, сначала тихонько, а потом в голос. И тут же спохватилась, боясь разбудить спящего Воронихина. Но, видимо, плач её был услышан, потому что спустя несколько мгновений по коротенькой деревянной лестнице прошлёпали резвые босые ноги, и в дверь её комнаты тихонечко постучали. Потуже обернув простыню вокруг заметно постройневшего на юге тела, Инна осторожно открыла. На пороге, в неизменной бандане и самодельных шортах с рваной бахромой на коленях, стоял Михеев. К голому смуглому животу он прижимал серый бумажный пакет с неспелыми сливами, вероломно украденными в соседском саду, неосмотрительно примыкавшем к их саду общим забором.

Лицо Михеева являло странный диссонанс. Его челюсти продолжали ритмично жевать жёсткую сливу, а глаза смотрели на неё удивлённо и выжидающе. Автоматическим движением она забрала у Михеева пакет, и он воспринял это как призыв к действию. Так началась её самая романтическая ночь на Черноморском побережье Кавказа. В любовных делах Михеев оказался далеко не новичком, и это спасло Инну от мыслей о собственном греховном падении.

Южные ночи так же темны, как и коротки. Перед самым рассветом её разбудил грохот — это лезли в окно потерявшие ключ Лоза и Сыромятников. Воспользовавшись краткой суматохой, она, обернув себя смятой простыней, выставила полусонного Михеева за дверь. В окно она видела, как Михеев, пробираясь по веранде, с опаской покосился на раскладушку, но Воронихин только повернулся на бок и продолжал сладко спать, подрастая, видя во сне авторитетную жизнь второкурсника. Спустя несколько минут Михеев вернулся на веранду и, бросив взгляд на приоткрытое окно Инниной комнаты, аккуратно повесил красную бандану на спинку стула в изголовье спящего Воронихина.

С утра неожиданно пошёл дождь, уныло молотивший по крыше всю последнюю неделю июля, и о продолжении внезапно вспыхнувшего романа можно было забыть. Компания изнывала на веранде. Задрав босые ноги на потемневшие от дождя перила, Лоза и Сыромятников шлёпали картами по колченогому столу, мечтали о хорошей погоде и посещении напоследок случайно обнаруженного в пяти километрах от посёлка нудистского пляжа. Воронихин в красной михеевской бандане на голове бесконечно перебирал свои сокровища, не переставая громко удивляться причудливым очертаниям омытой волнами веков черноморской гальки. Из благодарности он старался держаться поближе к Михееву. В своей комнатухе декан отсыпался за все предыдущие ночи.

Бросающееся волнами море было прекрасно и в дождь, и Инна, взяв зонт, часами бродила по побережью. Иногда с ней увязывался Воронихин, и они подолгу любовались мокрыми блестящими спинами дельфиновых супружеских

пар, синхронно мелькавших над волнами. Пришла пора собираться домой...

Обратная дорога прошла без происшествий. Глядя на Михеева, флегматично жующего синтетическую лашшу, Инна думала: “Чёрт с ним, в сентябре уволюсь”. Воронихина на вокзале встречала бабушка.

Но во второй половине августа неожиданно собралась с мужем за границу одна из Иннинных коллег по институту, и вместо увольнения ей пришлось взять дополнительную нагрузку.

Отношения с деканом продолжались. Тяжело, туго, но тем не менее продолжались. В институте знали об этом, кто-то одобрял, кто-то тайно и мрачно завидовал: преимущественно женский коллектив по-разному воспринимал эту сторону её жизни, ревнисто следя за развитием событий. И, вероятно, поэтому никого не удивил аккуратный животик, в положенный срок приятно округлившийся под джинсовой материей просторного сарафана.

Наступили и промчались новогодние праздники, оставив за собой шлейф новомодных рождественских каникул, которые она посвятила приятным прогулкам, пешим походам по магазинам в поисках приданого маленькому, мельчайшим тонким переменам в квартире. Декан звонил ей несколько раз, поздравлял с Новым годом, с наступающим Рождеством — к встречам с ним она особенно не стремилась. На исходе затянувшихся праздников он нагрел сам, лично, без звонка, источая аромат дорогого одеколона, шелестя букетным целлофаном. “Жениться пришёл”, — догадалась она, со свадьбой не поспешила, но и не стала отказываться от неуклюжего предложения, отложив, однако, церемонию на потом, на после рождения сына. То, что будет именно сын, она узнала уже давно, ещё на третьем месяце плавно протекавшей беременности, и имя тоже давно придумала — Александр, Шурик...

Вопреки ожиданиям, декан оказался заботливым и уютным, с удовольствием занимался ребёнком, и спустя год она уже сидела за давно заброшенной диссертацией. Отрываясь от очередной главы, она искоса наблюдала, как декан, присев на корточки, играет с Шуриком. Вцепившись ручонкой в бортик кровати, малыш радостно улыбался миру, гуляя пухлыми пальчиками в рано пробившихся тёмных кудряшках...

БАБЬЕ ЛЕТО

Сон, этот странный, тревожащий душу сон, забывающийся днём, вечерами возникающий в сознании с новой ясностью, а ночь за ночью повторяющийся с пугающей чёткостью в подробностях...

Чей-то чужой, неизвестно кому принадлежащий, чрезвычайно запущенный садовый участок. Собственно — целина, и теряющиеся среди высокой травы одичавшие заросли разноцветного водосбора. Всё это тяжёлое, мокрое, насквозь пропитанное водой. И с трудом бегущие, путающиеся во всем этом великолепии ноги — мои ноги, в грязных кроссовках и мокрых джинсах, но определённо мои...

Оксана. Оксана Свиридова. Не самое затасканное сочетание звуков, не самое потёртое имя. После замужества возник соблазн усовершенствовать его, придать имени шарм и элегантность: добавить к собственной фамилии редкую и благозвучную фамилию мужа — Гросс. Свиридова-Гросс... Но ностальгия по далёким студенческим и ещё более далёким школьным годам остановила. Оксана Свиридова. Именно так звали меня в мокрогоубом детстве и шальной, не поддающейся тормозам юности. Так тому и быть. Тем более, что Андрей Гросс, сомнительно скрашивая моё существование в течение четырёх лет, исчез в неизвестном направлении, и единственным напоминанием о нём была присланная однажды, очевидно, по недоразумению, куцая поздравительная открытка к Новому году, написанная с двумя легкомысленными орфографическими ошибками. Расставаться тогда было нестрашно, даже весело. Всё это немного напоминало авантюру, фарс. Двадцать шесть лет: какие могут быть сомнения! Двадцать шесть: вся жизнь впереди, десятки гроссов, ещё не встреченных мною. “Мерзавец, ты испортил мне жизнь”, — красивые, громкие, приличествующие случаю фразы.

Сейчас мне сорок один, и из передовицы центральной газеты я узнаю, что Андрей Гросс, нет, не депутат ещё, но кандидат в депутаты, полный сил и энергии, и трогательной заботы о слабых мира сего, подающий большие надежды. Но всё это — уже его жизнь, не моя. У него новая семья, у него подрастает дочь, там, далеко, в российском “туманном Альбионе”, в “городе на Неве”.

Проходит ещё год, и в той же газете я читаю, что поздним вечером девятого сентября в подъезде своего дома на Фонтанке депутат Андрей Юрьевич Гросс был застрелен неизвестным. Следствие ведётся, версии уточняются, соболезнования приносятся...

Год от Рождества Христова две тысячи второй. Мне сорок два, и я даю себе торжественную клятву, достойную безумца: лет десять ещё подожду, этак года до две тысячи двенадцатого, а потом — простите, жизнь не сложилась, она покатилась под откос, бессовестно показав мне кукиш, вильнув опущанным кучехвостым задом. “Мерзавец, ты испортил мне жизнь!”

Я иду по осеннему парку, его самой дальней, дикой части, плавно переходящей в лес. Под ногами похрустывает успевшая пожелтеть и пожухнуть хвоя. Такие вот одинокие прогулки пешком всегда помогали мне отвлечься, скинуть со своих не по-женски прямых плеч тяжёлый груз мрачных мыслей. Особенно, когда лес чист и прозрачен, когда летят в воздухе почти невидимые глазу легчайшие паутинки, когда на голове у меня, как сегодня, привычный красный берет, плечи согревает когда-то вызывающее, а сейчас — поношенное и просто любимое пончо, а волосы забраны в струящийся на спину из-под берета легкомысленный “конский хвост”.

Но сегодня ритуальная прогулка не возымела действия. Мне по-прежнему грустно, мне жаль Гросса, жаль его дочь, подрастающую в далёком Питере, жаль даже его жену, наверняка натуральную блондинку. Он всегда любил блондинок. И я, чтобы доставить ему удовольствие, однажды покрасила волосы, осветлилась, полностью обесцветила свои тёмно-русые кудри, отчего кожа лица сразу приобрела нездоровый синюшный оттенок.

Собственное равнодушие к печальной судьбе бывшего супруга поражает меня, трогает настолько, что я принимаюсь шмыгать вмиг покрасневшим носом и даже, что совсем уж удивительно, чувствую пощипывание в глазах. Я прощаю ему всё и сразу: четыре года безденежья и постоянных склок, редкие походы “налево” и даже аляповатую открытку с двумя орфографическими ошибками. Я не сомневаюсь, что если сейчас кто-нибудь взялся бы утешать меня, успокаивать, я бы заплакала, заревела бы в голос, но рядом — на счастье — никого нет.

Но вот аллея делает крутой поворот, и, пройдя ещё несколько шагов, я убеждаюсь, что вокруг не так уж и бесплодно: за поворотом, метрах в десяти от себя я вижу парня с доберманом. Парня лет двадцати семи, в яркочерной куртке и чёрной бейсболке, надетой козырьком назад, добермана шоколадной масти, поджарого и очень красивого, с палкой в зубах. Очевидно, он только что принёс её своему хозяину. Очевидно, ему не терпится услышать команду “апорт”, увидеть, как, взлетев, палка описывает дугу в прохладном прозрачном воздухе, и стремглав бросится за ней, выразив этим ещё раз свою покорность и готовность к действию.

Пара эта до того хороша, что я на миг забываю о Гроссе и, заворожённо глядя на парня с собакой, сую руку в карман парка в поисках сигарет, достаю из пачки последнюю, пачку комкаю, но не решаюсь бросить на землю, а засовываю обратно в карман. Со спичками мне везёт меньше. Их нет: нет в карманах куртки, нет в джинсах, и я замираю в недоумении, словно эта ничтожная досадная деталь способна ввести меня в ступор, а ноги сами делают шаги вперёд. Те несколько шагов, что нас разделяют, — я не замечаю их, я приближаюсь, и вот уже около моего лица вспыхивает огонёк зажигалки.

По пути домой я убеждаюсь, что оба они ещё очень молоды, полны энергии и жадны до жизни, до всех её радостей и открытий. И трогательно наглы. Это первое из открытий, и поджидает оно меня в тот же вечер в подъезде моего собственного дома, куда следом за мной протискиваются они оба, навязавшись в провожатые. Вторым открытием становится его имя: Сергей.

Вскоре я узнаю, что числится он студентом-заочником, но учится вяло, очевидно, как он сам говорит, “перезрев” к своим двадцати семи годам. Двадцать семь — самое время поохотиться на разменявших пятый десяток простушек. Тем более, если простушки эти смотрят на тебя широко распахнутыми глазами.

Его двадцать семь и мои сорок два, как ни странно, сливаются в неплохой тандем, удививший и напугавший меня в равной мере. Как бы там ни было, вскоре мы уже встречаемся достаточно часто, чтобы я успела привязаться и к нему, и к его собаке. И впервые после разрыва с Гроссом я вспоминаю, что можно задохнуться от возможности счастья, полноты жизни и прозрачности бытия. И ещё: во мне поднимает голову никем не разбуженный раньше материнский инстинкт, и страстно хочется творить, лепить из молодого бойфренда личность незаурядную и интересную, женским чутьём угадывая, что под этой хамоватостью и внешней беспечностью скрываются острый ум и хорошее чувство юмора.

С началом лета и дачного сезона встречи наши принимают новый характер: теперь мы проводим время не так часто вместе в моей городской квартире, а всё больше на садовом участке, куда нас неизменно сопровождает Донна. Несмотря на полную, стопроцентную причастность к сословию городских жителей, Сергей довольно ловко обходится и с топором, и с лопатой.

В общем, всё идёт прекрасно, если бы не повторяющийся с завидной регулярностью мой отчаянно-цветистый влажно-напористый сон. Сон, объяснения которому я не нахожу. В ночь перед нашей очередной поездкой на дачу он вновь снится мне. Я уже привыкла к нему, он перестал меня пугать, но в эту ночь в нём появляется нечто новое. Чьё-то тяжёлое, хриплое дыхание, почти всхлипы, словно бы за моей спиной, но в то же время повсюду.

Наступившее солнечное утро, толпа дачников в автобусе, толпа дачников в электричке напрочь выгоняют из моей головы мокрые туманные ошметки давешнего сна.

Сергей удивляет меня снова огородным рвением и способностью к работе в саду, казалось бы, незатейливой, но требующей особых знаний и сноровки. В доме я накрываю живописный стол для ужина, расцвеченный зелёными перьями лука и красными боками помидоров. В центре на почётном месте красуется кастрюля горячей свежесваренной картошки. Тут же рядом громоздятся кувшины с лохматыми астрами. В ожидании, пока Сергей наносит с недалёкой колонки воду в бочку, стоящую за стеной покосившегося сарая, я, смущённая непричастностью к работе в собственном саду и не испытывающая ни малейшего желания полоть основательно заросшие морковные гряды, вызываюсь прогуляться с изнывающей Донной.

С наслаждением, написанным даже на узкой морде, собака втягивает носом сочный лесной воздух. Поначалу опасно косясь на оставшегося на огороде хозяина, вскоре она покорно идёт со мной, вслушиваясь, склонив чуткую голову, в щебетание загородных птах. Мы отходим уже довольно далеко, как вдруг из неожиданной тучки начинает моросить дождь.

Преодолев ещё несколько десятков метров, мы попадаем на дальнюю окраину дачного посёлка, в незнакомую мне часть его, плавно переходящую в лес. Там, в этом лесу — где-то в самом его сердце — неожиданно раздаётся выстрел. Напружинясь всем своим грациозным телом, Донна залиисто лает и, резко подавшись вперёд, вырвав спасительный поводок из моей не ожидавшей такого подвоха руки, бросается к недалёким берёзам. Я бегу за ней, крича, взывая к собачьему благоразумию, но она коричневой тенью петляет между стволов, постепенно скрываясь из виду. В полном отчаянье озираясь вокруг, я пытаюсь сориентироваться, и щемящее чувство дежавю охватывает меня. По колено сырая от успевшей намочнуть травы, со спутанными волосами, тяжело дыша, я стою в середине своего собственного кошмарного сна и уже вижу между собой и маячащим впереди лесом разноцветные венчики водосбора.

В лесу вновь кто-то стреляет, этот звук заставляет меня очнуться и бежать на поиски, но прямо в середине цветочных зарослей я цепляюсь грязной кроссовкой за брошенную кем-то проволоку и падаю, ударяясь грудью

о землю. Водосбор спасает меня. Не расти он так плотно и густо, удар мог бы быть гораздо сильнее. Но он и сейчас силён, силён настолько, что что-то гулко ухает в груди, и я на миг забываю о том, как дышать. “Забыл, как дышать — умер”, — некстати приходит на память дурацкая строчка из глупого анекдота. Проклиная всё на свете, я стенаю поднимаюсь, сначала на четвереньки, потом уже в полный рост и, бросив безнадежный взгляд в сторону враждебного леса, ощипывая с мокрой одежды прилипшие синие и розовые лепестки, плетусь в сторону дачи, заранее ужасаясь от неизбежности встречи с Сергеем.

— Дура, — кричит он, кривя красивый капризный рот. — Как ты могла упустить её! Ты не понимаешь, что она для меня, тебе никогда не понять! Да ты знаешь хотя бы, чего стоит такая собака? Дура!

“Хорошо хоть, не старая дура”, — успеваю подумать я в тот миг, как он опускается на крыльцо и начинает размазывать по щекам самые что ни на есть взаправдашные слёзы, совсем не мужские, а очень детские и очень искренние. Ещё до того, как он срывается с крыльца и бежит в сторону леса, я думаю о том, что обо мне, вероятно, никто никогда не будет так горевать. Но он бежит, и сгущающиеся сумерки уже скрывают его фигуру. А я слышу только отдалённый голос, призывающий Донну.

Спустя приблизительно час он возвращается один, без собаки. Ни слова не говоря, бросает свои вещи в сумку и уходит, теперь уже в сторону станции. “Пропади пропадом, дура”, — говорит вся его фигура, и мне не приходит в голову ничего другого, как протянуть ему фонарь, который он с ожесточением отбрасывает. Ни в чём не повинный фонарик катится под уклон по слегка кривоватой капустной грядке и прячется под широким листом, смирившись со своей участью. Силуэт Сергея исчезает, растворяясь в темноте, и я остаюсь одна.

Разгулявшийся не на шутку ливень, отчаянье, даже страх доводят-таки меня до слёз. Сначала потихоньку, а потом всё громче я начинаю всхлипывать, жалея себя — бедную несчастную дурочку, умирая от жалости к себе. “Всё, вот доживу до две тысячи двадцать какого-нибудь...” Мои всхлипы отражаются от стен в пустом и гулком доме, принимая странный резонанс, пока я не понимаю, что к ним примешивается ещё какой-то, проникающий извне, странно-знакомый, созвучный им шум.

Найдя в полной предрассветной тьме на ощупь дверь на веранду, я чуть приоткрываю её, но в тот же миг она распахивается шире, гораздо шире под напором чего-то тёмного, упругого и мокрого. Изображая раскаянье всем: грязной, пахнущей псиной шерстью, испуганными глазами, ушами, горизонтально прижатыми к узкой голове, — в дом вваливается Донна, бросает передние лапы мне на плечи, оставляя на рубашке грязные следы, облизывает тёплым слюнявым языком моё лицо и тут же шумно отряхивается. Брызги воды и грязи летят повсюду, попадают на постель, на обои, на обеденный стол с безнадежно остывшим нетронутым ужином, но я не сержусь, я смеюсь и плачу одновременно, обнимая собаку, целуя её в виновато вздрагивающую мокрую нюхалку.

Наконец, измученные радостью встречи, мы укладываемся вместе на одну постель. Тело собаки вздрагивает от предутренней прохлады, от пережитого ужаса. Я обнимаю её, пытаюсь согреть и успокоить. В доме наступает тишина, а откуда-то издалека уже доносятся отчётливо слышные в сыром предутреннем воздухе ранние гудки первых электричек.

И я понимаю вдруг, что эта странная круговерть, именуемая жизнью, на две тысячи двадцать каком-то никак не закончится. Что будет и две тысячи двадцать следующий, и две тысячи тридцать первый... На две тысячи тридцать пятом я перестаю считать: я сбиваюсь, я засыпаю, уткнувшись носом во влажную собачью шерсть.